

следние годы заметен известный догматизм. В двух случаях, когда речь идет о наклонности к другим заболеваниям при наличии различных групп крови, связи менее четки и не допускают определенных выводов. Противоречива пока трактовка и некоторых новых фактов, накопленных за последние два-три года. Статья Эфроимсона, автора обстоятельной сводки по медицинской генетике, суммирует новейшие результаты медико-генетических исследований, а так как они развиваются исключительно интенсивно и печатаются в самых разнообразных журналах, то и нужда в таком обзоре велика. Обе статьи, особенно статья Эфроимсона, снабжена обстоятельной, почти исчерпывающей библиографией, что значительно увеличивает их информационную ценность, а заодно и ценность русского издания книги Штерна, которое приобретает самостоятельное значение по сравнению с английским.

В заключение — два замечания. Общая генетика, широко используя биохимические и цитогенетические методы, опираясь на генетику вирусов и бактериофага, перешла на молекулярный уровень. Другими словами, за условными терминами, которым трудно было придать определенную конкретность, например за термином «ген», вскрылась биохимическая реальность. Однако само явление оказалось сложным, и ген старых авторов распался на ряд более мелких, но биохимически точно характеризующихся единиц: единицу мутации — мутон, единицу рекомбинации — рекон, единицу действия — цистрон и т. д. Современная общая генетика широко пользуется этими понятиями и многими другими (биохимическая расшифровка наследственного кода, например), которые не вошли в генетику человека, излагаемую в старых терминах и с очень традиционной, во многом устаревшей трактовкой явлений. Причина тому очевидна — она лежит в сложности человеческого организма как объекта генетического изучения и невозможности пользоваться в генетике человека экспериментом. Книга Штерна не составляет исключения. Она написана так, будто общая генетика еще не вскрыла биохимической природы наследственной информации, будто за такими понятиями, как ген, мутация и др., не скрываются определенные биохимические реакции. Конечно, для того чтобы перевести генетику человека на этот уровень, нужны многолетние экспериментальные исследования, нужны огромные соединенные усилия антропологов, генетиков и врачей, но необходим и глубокий теоретический анализ уже накопленных фактов под этим углом зрения. Его еще предстоит проделать.

Второе замечание касается второстепенного, но, с точки зрения рецензента, важного вопроса. Каждую главу английского издания книги Штерна сопровождали генетические задачи, умело подобранные и сразу придававшие книге характер полноценного учебного пособия, пригодного и для самостоятельной очень подробной проработки генетики человека. В русском издании они почему-то сокращены. Достигнутая при этом экономия объема книги мизерна: объем всех задач составляет меньше полутора листов, а вред очевиден — это досадное сокращение очень затрудняет использование книги в университетах как учебника по курсу антропогенетики. Правда, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР издал в 1966 г. эти задачи ротационным способом в количестве 200 экземпляров, но издание это практически недоступно даже специалистам, не говоря уже о студентах — да и тираж его на 9800 экземпляров меньше тиража самой книги.

В. Алексеев

НАРОДЫ СССР

С. А. Токарев. *История русской этнографии (дооктябрьский период)*. М., 1966, 456 стр.

Живой интерес к истории исторических наук, проявляющийся в последнее время не только учеными-специалистами, но и широкими кругами читателей, вполне закономерен. Многовековой путь развития этих наук может быть даже больше, чем в других отраслях, отражает противоречия общественного развития, классовую и идеологическую борьбу.

Прогрессивная историческая мысль нередко должна была пробивать себе дорогу через всякого рода препятствия, поставленные реакцией. И в области этнографии это сказывалось, пожалуй, особенно ярко, так как шовинистическая политика царского правительства в ряде случаев создавала чрезвычайно трудные условия для изучения населяющих нашу страну народов.

И впоследствии роль тех или иных ученых и целых научных направлений иногда оценивалась предвзято. Это было не только несправедливо, но и вредно для дальнейшего развития советской исторической науки. Тем важнее для науки теперь подробный обзор и объективная оценка трудов наших предшественников.

В области этнографии эта огромная работа проделана С. А. Токаревым, выпустившим в нынешнем году капитальный труд «История русской этнографии». Посвятив его этнографии дореволюционной, автор, однако, имел в виду прежде всего насущные нужды советского читателя. «Если мы узнаем,— пишет он,— как сложилась впервые этнография как особая наука, как боролись за нее мыслящие люди, какую роль играла этнографическая наука в борьбе передовой мысли против всего отсталого, отжившего, как понимали задачи этнографии деятели передовой культуры и как понимали ее реакционеры,— нам гораздо легче станет определить и свое собственное отношение к предмету и задачам этнографической науки в наши дни» (стр. 3—4).

В книге говорится об этнографических представлениях русских в эпоху Средневековья, о развитии интереса к тем или иным этнографическим проблемам по мере роста и укрепления Русского государства, о первых русских «землепроходцах», и об огромном размахе научных этнографических исследований в XVIII в., о деятельности научных обществ и отдельных этнографов в XIX в., об этнографических музеях и журналах. Автор рассматривает этнографическую науку в каждый период на фоне общественно-политических условий эпохи (иногда, пожалуй, даже слишком непосредственно связывая изменения в научных течениях с конкретными историческими событиями).

С. А. Токаревым рассмотрено и обобщено такое огромное количество больших и малых книг, статей, экспедиционных отчетов, что, кажется, почти не осталось работ, которые не вошли бы в эту своеобразную энциклопедию этнографических исследований.

Но книга далеко выходит за рамки этого определения. Читатель найдет в ней не только систематический разбор и квалифицированную оценку обильной научной, научно-популярной и даже художественной литературы. Он найдет также указания важнейших источников, содержащих сведения по этнографии народов СССР. С этой точки зрения автор рассматривает некоторые летописи, акты, переписные книги, «хождения» и т. п. Таким образом, рецензируемая книга — не только историографический, но и источниковедческий труд.

Значение книги гораздо шире пособия для специалистов-этнографов. Характерная ее черта — тесная связь обзора развития данной отрасли науки с теми конкретными историческими условиями, в которых она развивалась,— делает книгу нужной историкам, работающим в других областях истории нашей страны. Не минует ее и всякий, кто интересуется проблемами развития общественной мысли в XVIII и XIX вв.

История русской этнографии знает подлинных рыцарей науки, стремившихся не только изучать народы, но и служить им по мере сил, рыцарей, приносивших в жертву науке и народу все свои знания, средства, силы, а иногда — и самую жизнь. Но знает она, к сожалению, и ретивых чиновников, занявшихся наукой по приказу начальства и испытывавших к народу, которым они занимались, в лучшем случае холодное-презрительное любопытство. Изучение народов нужно было правительству и церкви, чтобы успешнее их эксплуатировать. Изучали народы и ученые-гуманисты и борцы-революционеры. Автор последовательно проводит различие между этнографами по той задаче, которую они себе ставили.

«Изучать и знать народ, чтобы лучше им управлять; изучать и знать народ, чтобы помогать ему, чтобы бороться за его освобождение — вот два лозунга, два принципа знаменовавших раскол русской этнографической науки на два противоположных класса лагерь», — пишет он на стр. 11. И как резкое обвинение царизму звучат приводимые автором слова Герцена: «Не зная народа, можно притеснять народ, кабалить его, завоевывать, но освобождать нельзя» (стр. 212).

С большим мастерством при таком сжатом изложении С. А. Токарев дает яркие портреты прогрессивных ученых-этнографов. Внимание читателя привлекает не только известный теперь всему миру образ Миклухо-Маклая; читатель познакомится и с М. И. Венюковым — военным в высоких чинах, не остановившимся перед тем, чтобы выйти в отставку в знак протеста против реакционного режима, смело объяснив самому царю ее мотивы. Узнает читатель и об архимандрите Иакинфе (Бичурине), который ради изучения китайцев совсем забросил работу вверенной ему русской духовной миссии в Пекине, за что по возвращении в Россию был лишен сана и сослан в отдаленный монастырь. Подобные портреты украшают книгу.

Хронологически «История русской этнографии» охватывает обширный период — около девяти столетий, начиная с источников XI в. и до работ, вышедших накануне революции. В отдельных случаях автор говорит и о работе ученых в советское время.

Итак, работа проделана огромная и с большой пользой.

Но, разумеется, не все в книге бесспорно. Многие положения автора вызывают желание возразить, вернуться еще раз к рассмотрению тех или иных вопросов. И для читателей журнала, вероятно, будет интереснее, если вместо аннотирования книги по главам, мы сосредоточим внимание на том, что могло бы быть решено иначе, чем это сделал автор.

Этнография, как и другие науки, возникла не вдруг, по чьему-то желанию. Становлению науки предшествовал длительный период накопления знаний о народах населяющих нашу страну, и о зарубежных народах. И С. А. Токарев вполне прав

говоря, что «связной системы понятий, принципов и методов, составляющих науку, ...не было... ни в XII, ни в XVII в.» (стр. 5). Можно спорить, возникла ли такая система «около середины XIX столетия», как считает автор, или раньше, в XVIII в., поскольку тогда были широко, на научной основе поставлены экспедиционные исследования и написаны первые сводные описания народов России. Но мало убедительной представляется нам попытка С. А. Токарева разделить понятия «этнография» и «этнографическая наука» (стр. 5). Лучше было бы говорить об «этнографических знаниях» и «этнографической науке» или «этнографии» (что одно и то же), подобно тому, как говорил в свое время об «историческом знании» и «исторической науке» Н. Л. Рубинштейн¹. В таком случае I и II главы можно было бы выделить в особый период: «накопления этнографических знаний». Тот факт, что автору «Повести временных лет» было известно о единстве происхождения славянских народов, не дает права называть эти сведения историко-этнографической концепцией (стр. 5) и считать XI—XV вв. «начальным периодом русской этнографии» (стр. 23). Представления о единстве происхождения тех или иных родственных племен встречаются и у народов, находящихся на гораздо более низкой стадии развития, чем славяне периода начальной летописи, но вряд ли кто-нибудь скажет, что эти представления, даже вполне правильные, являются начатками этнографической науки. Это именно знания, далеко не всегда покоящиеся на научной основе.

Мы уже говорили, что большая ценность книги С. А. Токарева в том, что это одновременно историографическое и источниковедческое исследование. Однако самый отбор автором этнографических источников вызывает ряд вопросов, а порой и возражений. Почему, например, указаны «росписи» и ясачные книги по Сибири (стр. 48—51) и не указаны многочисленные писцовые книги по Европейской России? Ведь они содержат очень ценные сведения и о занятиях населения, и о характере поселений — сельских и городских, и даже (например, Новгородские) об ассимиляции русскими соседнего финноязычного населения.

С. А. Токарев не признает этнографическими источниками всякого рода законодательные акты на том основании, что их составители писали «не о том, что есть, а о том, как нужно поступать» (стр. 7). Но общеизвестно, что, говоря «о том, как нужно поступать», законодательство всегда исходит из того, «что есть». В частности, «Русская правда», начинающаяся с ограничения права кровной мести, должна быть признана важнейшим источником по этнографии Древней Руси. Немало ценных для этнографа сведений содержит и «Домострой», к сожалению пропущенный С. А. Токаревым, очевидно, по тем же мотивам.

Не попали в обзор источников и многочисленные древнерусские «Жития святых», хотя в них можно встретить весьма важный этнографический материал. Достаточно указать на «Житие Александра Невского», из которого мы узнаем, например, об отношениях славян и ижоры в XIII в.²

Произведения, написанные за границей, С. А. Токарев в ряде случаев также не признает источниками на том основании, что авторы их — «различные русские аристократы» — утрачивали связь с родиной и сочинения их малограмотны (стр. 17). С этим можно было бы согласиться (малограмотное писание вряд ли следует включать в историю науки независимо от того, кто их авторы), если бы к разряду таких произведений С. А. Токарев не отнес рассказ московского посла в Ватикане Герасимова (XVI в.), произведения Курбского и Котошихина. Думается, что здесь — досадное недоразумение. Эти важные источники должны обязательно войти в научный оборот (разумеется, после строгой научной критики: например, в записи рассказов Герасимова, сделанной итальянцем Павлом Иовием, нельзя безоговорочно воспроизводить названия частей трехкамерного русского жилища и т. д.). Этнографы будут пользоваться ими, как давно уже пользуются историки.

Не привлекли внимания С. А. Токарева и изобразительные источники, в частности, такой важный источник, как древнерусские миниатюры³, которые недаром называют «окнами в исчезнувший мир». Они намного расширяют рамки текста и, что особенно важно для этнографа, конкретизируют его материал. Если текст говорит, что Ольга похоронила убитого древлянами Игоря и велела насыпать «могилу велику», то миниатюра изображает сооружение кургана; если автор жития Бориса и Глеба пишет о смерти и похоронах Владимира, то художник рисует погребение в саях, и этнограф может представить себе оба древних погребальных обряда вполне конкретно. Летописец упомянул об «игрищах» вятичей — и на миниатюре мы увидим настоящую деревенскую «вечорку» — мужчин и женщин в древней одежде, пляшущих

¹ Н. Л. Рубинштейн, Русская историография, М., 1941.

² См. Н. Серебрянский, Древнерусские княжеские жития (обзор редакций и тексты), М., 1915.

³ Этому вопросу посвящена обширная литература. Последнее по времени — общее исследование: О. И. Подобедова, Миниатюры русских исторических рукописей. К истории русского лицевого летописания, М., 1965.

под своеобразный оркестр, сможем определить виды и форму духовых и ударных инструментов, заметим, что зрители отбивают ладонями такт совсем, как и в наши дни.

Нужно отметить, что вообще изобразительные материалы в книге указаны, но лишь в отдельных случаях, а не систематически. Конечно, огромное значение для этнографа имеет творчество русских художников-демократов. Но, назвав таких художников конца XIX — начала XX в. на стр. 365, С. А. Токарев даже не упомянул, например, об А. Г. Венецианове (1780—1847). Несмотря на некоторую идеализированность и влияние академизма, созданные этим художником бытовые сцены, фигуры крестьян и горожан дают яркое представление о русских в первой половине XIX в. Особенно большое значение приобрели рисунки А. Г. Венецианова, помещенные в журнале «Волшебный фонарь». Фабрика Гарднера изготовила по ним целую серию фарфоровых фигур — «типов» русских горожан, вскоре широко распространившуюся. Можно было бы указать еще множество изобразительных материалов о русской народной жизни XVIII и XIX вв., которые важны для этнографов и заслуживают хотя бы краткого упоминания⁴.

История русской этнографии, конечно, была бы не полна без характеристики важнейших музейных коллекций. И С. А. Токарев не раз упоминает о собраниях «этнографических предметов», которые переданы в музеи Круzensхтерном, Лисянским, Вознесенским (стр. 145, 156—157), Миклухо-Маклаем (344) и многими другими. Он отмечает, что наша первая сводная этнографическая работа — «Описание в Российском государстве обитающих народов» — написана И. П. Георги как текст к гравюрам петербургского художника К. М. Рота, которые не могли бы появиться на свет, не будь в Петербурге уже в то время хорошего этнографического музея (стр. 103—104). Но правильно ли в таком случае безоговорочно утверждение автора, что «начало деятельности этнографических музеев падает главным образом на вторую половину XIX в.» (стр. 397)? Ведь известно, что уже в первой экспозиции Кунсткамеры — предшественницы современного Музея антропологии и этнографии — был значительный этнографический материал⁵. И если музеи в течение ряда лет не вели самостоятельной научной экспедиционной работы, то их экспозиционная и хранильская работа была очень важна для науки. И справедливо отмечаемые С. А. Токаревым недостатки организации учета и хранения (кстати, и это можно отнести не ко всем русским музеям: был еще в XVII в. музей, имевший образцовые для своего времени описи — Оружейная палата⁶) не дают ему права вовсе умолчать о работе музеев до XIX в. Может быть, следовало бы сказать хотя бы несколько слов о судьбе некоторых музеев в наше время. Например, читатель напрасно стал бы теперь искать в Москве коллекции Румянцевского и Дашковского музеев, о которых говорится на стр. 397—398. Они находятся в Государственном музее этнографии народов СССР в Ленинграде, а Москва является едва ли не единственной из столиц крупных государств мира, которая не имеет этнографического музея.

Одним из больших достоинств книги является то, что автор не ограничивается обзором специальных научных работ, а раскрывает и огромное значение для этнографа беллетристики. На страницах «Истории русской этнографии» мы встречаем разбор с этой точки зрения произведений писателей различных направлений: Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Некрасова, Мельникова (Печерского) и Гончарова, А. Н. Островского, Глеба и Николая Успенских и многих других. Конечно, нельзя требовать от автора сколько-нибудь полной разработки этой самостоятельной и весьма обширной темы, заслуживающей специальной работы. Но хотелось бы все же, чтобы такие писатели как Гоголь и Щедрин были не просто упомянуты в связи с отзывами о них других авторов (например, Белинского о Гоголе или Рыбникова о Щедрине — стр. 213, 247). Уже «Вечера на хуторе близ Диканьки» были настолько этнографичны, что автор даже снабдил их своеобразным глоссарием — маленьким словариком «не всякому понятных» слов, где мы находим и названия украинских кушаний, одежды, частей жилища, праздников, танцев и т. п. Этот словарь и сам по себе важен для этнографа. В «Пошехонской старине» мы находим едва ли не классическое описание сельского расселения в Пошехонье и всех деталей крестьянского быта эпохи крепостничества. Общеизвестна этнографическая точность описаний городского быта в произведениях упомянутых авторов. Хотелось бы отметить и особую роль, которую вольно или невольно сыграли некоторые литературные произведения в сложении наших представлений о народах. Думается, например, что тон пренебрежения, которым звучат посвященные Японии страницы «Фрегата Паллады», дорого обошелся в дальнейшем России, так как, возможно, не без его влияния возникло известное мнение, будто в случае войны русские закидают японцев шапками.

⁴ См. Г. Комелова, Сцены русской народной жизни конца XVIII — начала XIX в. по гравюрам из собрания Государственного Эрмитажа, Л., 1961.

⁵ Т. В. Станюкович, Музей антропологии и этнографии за 250 лет, Сборник МАЭ, XXII, М. — Л., 1964, стр. 9—10.

⁶ Г. Л. Малицкий, К истории Оружейной палаты московского Кремля, сб. «Государственная оружейная палата московского Кремля», М., 1954.

В последних двух главах книги, говоря о развитии этнографии в 40-х, 90-х годах XIX в., автор выделяет как особое направление работу краеведов-собираателей. С этим трудно согласиться прежде всего потому, что самое понятие «краеведение» в работе С. А. Токарева не однозначно. В только что упомянутых разделах оно трактуется, по-видимому, как изучение «местного населения» (стр. 365). Но «местным населением» будут все народы мира, поскольку они живут на какой-то конкретной территории, и, выходя за пределы отвлеченных проблем, обращаясь к конкретным этнографическим исследованиям, ученый всегда изучает «местное население». То обстоятельство, что сам исследователь родом из того же края, не дает, с нашей точки зрения, права отнести, например, Д. К. Зеленина к вятским, а М. К. Азадовского — к иркутским краеведам. Еще сложнее становится вопрос, когда С. А. Токарев называет «разновидностью краеведческой работы» этнографические исследования политических ссыльных (стр. 374). Тут уж в разряд «краеведческих работ» попадают и Сибиряковская и Джезуповская экспедиции, краеведами становятся Богораз и Иохельсон, Штернберг и Мушкетов.

Но есть в книге и другое определение краеведения, более близкое к нашему современному пониманию этого термина. Когда автор говорит, что «Местные музеи были по большей части краеведческого типа, а не специально этнографические, но во многих из них этнографические коллекции занимали видное место» (стр. 399), он, может быть сам того не замечая, противоречит высказанному им же раньше пониманию термина «краеведение». Здесь становится ясным, что краеведческий музей — это музей комплексный, посвященный различным проблемам жизни края, а не только этнографии. И в наше время под краеведением понимают обычно комплексное изучение ограниченной территории: природных условий края (геологического строения, климата, флоры и фауны), населения, древней и новой истории, экономики, культуры и быта. Работы же, которые С. А. Токарев относит к краеведческим, с одной стороны, не отвечают этому определению, поскольку они не комплексные, а именно этнографические; с другой же стороны, и по материалу и по значению они далеко выходят за границы края. Таковы указанные в разделе «этнографы-краеведы» работы Д. К. Зеленина «Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненёбных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации», «Библиографический указатель русской этнографической литературы о внешнем быте народов России» и «Описание рукописей ученого архива Русского географического общества» (стр. 366). Число подобных примеров можно было бы увеличить. С. А. Токарев прав в том отношении, что во второй половине XIX в. выросли местные культурные центры, образовалась местная интеллигенция, представители которой начинали работать на местном материале и нередко шли к решению важных общих вопросов этнографии. А рост революционного движения и ожесточенная борьба с ним царизма сделали в тот же период довольно обычным насильственное переселение в глухие края (декабристы ведь были редким исключением) представителей столичной интеллигенции, и ссыльные пополняли ряды прогрессивных, демократически настроенных этнографов. Но называть оба эти явления «краеведческим направлением» в этнографии или его разновидностью все же вряд ли возможно.

История русской этнографии, написанная С. А. Токаревым, заполняет важный пробел в нашей исторической науке. Ведь если не считать четырехтомного труда А. Н. Пыпина, вышедшего более чем три четверти века назад и имеющего совсем другие задачи, — это первое исследование такого рода. И высказанные нами соображения порождены как раз новизной и оригинальностью постановки темы, а также слабой разработанностью ряда вопросов истории нашей науки. Книга не только систематизирует огромный материал, не только сообщает множество полезных сведений. Она будит мысль, заставляет еще и еще раз вернуться и к тому, что, казалось, уже известно, по-новому увидеть знакомые источники и литературные произведения.

М. Рабинович

* * *

Вслед за «Этнографией народов СССР», «Ранними формами религии», «Религией в истории народов мира» выдающийся советский этнограф С. А. Токарев выпустил новую книгу, посвященную истории этнографических знаний в дореволюционной России. Этой теме автор уже касался и в соответствующих разделах коллективных «Очерков истории исторической науки в СССР» и в ряде специальных статей, но здесь она впервые рассмотрена им подробно.

В книге объемом до 30 печатных листов охарактеризованы сотни географических, исторических, юридических, беллетристических и собственно этнографических сочинений, появившихся на русском языке чуть ли не за тысячу лет, с XI в. до 1917 г.

Изумительная эрудиция С. А. Токарева, хорошо известная читателям его книг, выразилась здесь особенно ярко. С одинаковой уверенностью он ориентируется в древнерусских летописях и актах московских приказов, в бесчисленных записках русских путешественников XVIII—XIX вв., в трудах фольклористов, востоковедов, славистов, правоведов, историков медицины, в колоссальной краеведческой литературе. Долгая профессорская практика помогла С. А. Токареву изложить материал сжато, четко, распределив его по стройной системе.

У С. А. Токарева был только один предшественник — А. Н. Пыпин. За семьдесят с лишним лет, прошедших после опубликования его четырехтомной «Истории русской этнографии», никто не рискнул взяться за создание новой фундаментальной сводки на ту же тему. Отдельные интересные статьи в «Советской этнографии» и в трех томах «Очерков по истории русской этнографии, фольклористики и антропологии» не могли, конечно, заменить такой сводной работы. В то же время на многое мы стали смотреть совершенно иначе, чем Пыпин. По достоинству оценены этнографические сведения Древней Руси, в первую очередь собранные землепроходцами в Сибири. Лучшее представляем мы значение вклада русских путешественников, географов и этнографов в изучении Африки, Америки, Океании, зарубежной Азии. Обе эти темы совсем не затронуты А. Н. Пыпиным. Сосредоточив свое внимание главным образом на развитии фольклористики, он почти не останавливался на исследованиях в области материальной культуры, социального строя, верований и т. д. Все эти вопросы подробно анализируются в книге С. А. Токарева. Разумеется, им рассмотрены и труды русских ученых, появившиеся после 1892 г., когда вышел IV том книги А. Н. Пыпина. Таким образом, монография С. А. Токарева неизмеримо богаче и шире по содержанию, чем труд его предшественника. Нет нужды говорить о том, что методология советского этнографа принципиально иная. Представления об истории России, о борьбе демократических и реакционных сил в русской науке, сложившиеся к настоящему времени в марксистской историографии, полностью учитываются С. А. Токаревым.

Не стоит пересказывать содержание рецензируемой книги — читатели, и не только этнографы, несомненно, не раз будут к ней обращаться. Незачем доказывать, насколько своевременно и важно появление такого труда — это ясно каждому. Целесообразнее задержаться на отдельных спорных моментах, заслуживающих, по нашему мнению, обсуждения и дальнейшей разработки.

Большинство глав книги открывается кратким разделом, названным «Общие черты эпохи» или «Общественно-политические условия эпохи» или «Общие условия периода», сжатой справкой о социально-экономическом развитии России. Далее следуют разделы, посвященные уже тем или иным этнографическим исследованиям. Думается, что при таком построении выпадает очень важное связующее звено — состояние общественной мысли в России (параграфы о взглядах Радищева, Герцена, Чернышевского, Добролюбова не могут дать полного представления о всем богатстве идейных течений в русском обществе XVIII—XIX вв.). В итоге конкретные явления в истории культуры выводятся прямо и непосредственно из социально-экономической обстановки, тогда как чаще всего влияние ее было опосредствовано развитием общественной мысли, характерными для данной эпохи литературными движениями, эстетическими концепциями и т. д.

Два примера для пояснения. Констатируя относительно позднее зарождение интереса к быту русского народа, С. А. Токарев неоднократно повторяет, что решающий толчок в этом направлении дало восстание Пугачева. В XVII—XVIII вв. правительству важно было решить, как управлять сибирскими «инородцами». Поэтому их и исследовали, а собственным народом интересовались мало. Восстание Пугачева вынудило дворянство задуматься над судьбами русских крестьян. Тут-то и началось изучение их быта (стр. 10, 20, 117, 118). Такое объяснение явно чересчур прямолинейно. Во-первых, непонятно, почему в практических целях познания крестьянства стали собирать песни и сказки (именно с этого началось изучение русского народа), а не заниматься, скажем, земельными отношениями, почему эту работу выполнили не чиновники, а прогрессивные литераторы. Во-вторых, интерес к фольклору своего народа возник в третьей четверти XVIII в. во всех странах Европы, даже в тех, где не было значительных крестьянских волнений (Перси в Англии, Гердер в Германии, Бодмер в Швейцарии и т. д.). Это движение связано с так называемым преромантизмом, отказавшимся от идеалов классицизма ради сокровищ духовной культуры собственного народа¹. Понять это течение без учета социально-экономического базиса мы, вероятно, не сможем, но, игнорируя идеи преромантизма, мы не разберемся и в истории этнографии.

Другой пример. На стр. 288 С. А. Токарев говорит, что интерес к обычному праву русского крестьянства был вызван сугубо практическими причинами. Реформа 1861 г.

¹ P. Van Tieghem, *Le préromantisme. Etudes d'histoire littéraire européenne*. T. 1—2, Paris, 1924—1930; М. К. Азадовский, *История русской фольклористики*, т. I, М., 1958, стр. 113—122.

ликвидировала вотчинную юрисдикцию помещиков, правовые отношения запутались, понадобилось изучать общину. Вряд ли это так. Труды Н. В. Калачова по обычному праву напечатаны до реформы — в 1859 г. Статистика работ по общине, приведенная С. А. Токаревым на стр. 291, обращается против него: до 1850 г. — 4 работы, в 1851—1855 гг. — 5, в 1856—1860 гг. — 99, в 1861—1865 гг. — 54, в 1866—1877 гг. — 44. Резкий скачок наблюдается, как видим, до реформы, в 1856—1860 гг. Но этот скачок искусствен. Статьи об общине не печатались в годы николаевской реакции и смогли появиться в свет лишь после смерти Николая I, в период известного цензурного послабления. Интерес к общине зародился не в 60-х, а в 40-х годах в среде славянофилов, искавших «начала русской жизни» и по сути дела открывших общину. Между тем роль славянофильства в истории этнографии С. А. Токаревым в должной мере не отмечена (он упоминал лишь о немногих поздних и наиболее реакционных славянофильских сочинениях)². А ведь идеи славянофилов сказывались не только на трудах по общине, но и на собственно славяноведческой тематике. Неудачно мельком брошенное С. А. Токаревым замечание: поскольку в условиях николаевской цензуры нельзя было говорить о ликвидации крепостного права, либеральные дворяне заговорили о славянах. Истоки славянофильства глубже, идеи его сложнее.

Отсутствие характеристики ряда движений русской мысли (романтизм, славянофильство) невольно толкает С. А. Токарева к известному возрождению схематизма 20-х годов, когда любое явление в истории культуры оказывалось «откликом на требование торгового капитала». Отголоски подобных концепций чувствуются порой и в характеристиках некоторых ученых. «Будучи мелкобуржуазным демократом Кастрен...» (стр. 221). Право же, это режет ухо.

Второе замечание: во введении к книге С. А. Токарев пишет, что при определении границ и предмета этнографии необходимо учитывать саму историю этой науки. К сожалению, в дальнейшем изложении процесс формирования этнографии как особой науки, выделения ее в самостоятельную дисциплину почти не рассматривается. С. А. Токарев в основном приводит перечни книг и статей, содержащих этнографический материал, иногда — характеристику взгляды их авторов, иногда — сбиваясь на аннотированную библиографию (например, стр. 290, 313, 314, 388, 389, 396, 401, 432, 433). Историография в какой-то мере подменяется источниковедением (см. например, стр. 56—59, где сообщается, какие сведения может извлечь этнограф из судебных дел XVII в.).

А задача, поставленная во введении, заслуживала внимания. Этнография складывалась из очень разных источников и определить их, проследить этапы формирования науки было бы очень интересно. По нашему мнению, таких источников было минимум три. Во-первых, большое значение имели географические исследования. Рассказ об обычаях разных племен входил в задачи «землеописания», а этим предметом занимались и военные моряки, и чиновники, и миссионеры, и участники комплексных экспедиций Петербургской Академии наук XVIII в., и богатые дворяне, странствовавшие по свету. Во-вторых, крупную роль играло фольклористическое направление, зародившееся в среде литераторов, интересовавшихся истоками творчества, начальными «естественными» формами поэзии и искусства. Первые собиратели русских песен и сказок: В. А. Левшин и М. Д. Чулков, А. П. Сумароков, написавший по материалам Крашенинникова статью о поэзии камчадалов³, наметили пути и для фольклористики, и для этнографии XIX столетия. Очень существенно было направление, которое условно можно назвать социологическим. Проблема «дикаря», «естественного человека», иначе воспринимающего мир, чем люди, скованные цивилизацией, сравнения обычаев первобытных народов с европейскими привлекали уже Монтэня. Впоследствии тот же круг вопросов стоял в центре внимания Лафито и Вико⁴. Отразилось это направление и в России. Пушкин в статье о Джоне Теннере писал об индейцах: «летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека»⁵. Нельзя забывать и еще об одном направлении — антропологическом.

Проанализировать процесс сложения этнографии из столь разнообразных источников — одна из основных задач истории этнографической науки. Жаль, что С. А. Токарев обошел эту задачу.

² В оправдание автору надо сказать, что в советской литературе нет ни одной серьезной монографии о славянофильстве. Единственный труд, написанный с марксистских позиций, появился в Польше: A. Wallicki, W kręgu konserwatywnej utopii. *Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa*, Warszawa, 1964.

³ А. П. Сумароков, О стихотворстве камчадалов, «Трудолюбивая пчела», 1759, январь (или в Полн. собр. соч., ч. IX, М., 1781, стр. 278).

⁴ См. Д. Коккьяра, История фольклористики в Европе, М., 1960, стр. 29—44. 111—136.

⁵ А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. Т. 12, 1949, стр. 105.

Нужно сказать, что развитие этнографии мыслится С. А. Токаревым несколько замкнуто. Широко привлекаются данные только по истории фольклористики. Следовало бы гораздо больше сказать об антропологии, тесно связанной с этнографией и прежде, и теперь. Существовало же в XIX веке представление об единой науке «антропологии», включающей в себя и этнографию, и археологию; делались же тогда попытки рассматривать этнографию как одну из естественных наук. Отметив мельком это обстоятельство, С. А. Токарев объясняет его только огромными успехами естественных наук в ту эпоху (стр. 284). Это верно лишь отчасти. Нужно вспомнить о культуре естествознания у Писарева и шестидесятников, об «антропологическом принципе» Чернышевского, о позитивизме.

Напрашиваются порой и сопоставления с историей русской археологии. Параллельность ряда событий в развитии археологии и этнографии в России поразительна. Деятельность «русской партии» в Географическом обществе, вынудившей К. М. Бэра в 1848 г. отказаться от руководства отделением этнографии, имеет точное соответствие в истории Русского Археологического общества. Так, в 1851 г. И. П. Сахаров и А. И. Войцехович тоже заставили уйти старое руководство, обвиняя его в том, что издания общества заполняло «не описание русских древностей, а известия о чужеземных памятниках». Стоит подумать, были ли такие перевороты положительным явлением, как пишет С. А. Токарев (стр. 216). Ведь все это происходило в разгар николаевской реакции, под знаменем «православия, самодержавия и народности».

Столь же поразительно совпадение биографий Н. Н. Миклухи-Маклая и замечательного исследователя палеолита Крыма К. С. Мережковского. И тот, и другой на грани 70-х и 80-х годов неожиданно прекратили свои чрезвычайно успешные исследования: первый — этнографические, второй — археологические, и обратились к зоологии, даже к одной и той же группе простейших — губкам. Вряд ли это случайно. Скорее всего перед нами результат какого-то кризиса в мировоззрении людей шестидесятых годов, своеобразной переоценки ценностей⁶.

Мы отнюдь не настаиваем на безграничном расширении проблематики «Истории русской этнографии». Речь о другом: об историко-культурном фоне, на котором многие явления выступают рельефной и будут поняты точнее.

Третье замечание касается периодизации. При всех оговорках во введении об условности любой периодизации предложенная С. А. Токаревым схема истории русской этнографии убеждает не во всем. Резонно выделение двух этапов для допетровского периода — до освоения Сибири и после этого события. Верно, что поворот от исследования сибирских народов к русскому фольклору в 70-х годах ознаменовал другой важный рубеж. Но грани следующих периодов — 1800 г. и 1840 г. вызывают сомнение. Во всех курсах по истории русской культуры переломным моментом признается 1825 г. — год восстания декабристов. Действительно, после декабря поиски русской мысли пошли в новом направлении, в литературе романтизм сменился реализмом, зародилось славянофильство и западничество. Все это не могло не отразиться и на гуманитарных науках. Грань — 1840 г. ничем не оправдана (создание географического общества, упомянутое С. А. Токаревым, относится к 1845 г.). Чисто формальна и грань — 1800 г. Нам кажется, что вернее говорить о периоде с 70-х годов XVIII века до 1825 г. и о периоде с 1825 г. до 60-х годов XIX века. Первый этап — эпоха преромантизма и романтизма, начала собирания русского устного народного творчества, просветительской и декабристской фольклористики. Второй период — эпоха реализма в литературе, дискуссий славянофилов и западников, зарождения интереса к общине. При такой периодизации многое станет на свое место, Терещенко неожиданно не окажется карамзинистом (стр. 203), анализ настоящих научных работ не будет перебиваться рассказом о записках дилетантов 20-х годов XIX века.

Более частные замечания: мало внимания уделено этнографическим музеям. В главе о XVIII в. даже не сказано о создании Петровской кунсткамеры. Не оценен по заслугам бурный рост числа краеведческих музеев в 70—90-е годы XIX века, в период увлечения интеллигенции культурно-просветительской работой — «малыми делами» Сводка А. М. Разгона по истории этнографических музеев⁷ не упомянута.

Не совсем верна характеристика А. Н. Афанасьева. Неправда, что «царская цензура не чинила препятствий печатанию сказок Афанасьевым» (стр. 241), а сам он «был чужд революционных идей Белинского и Герцена» (стр. 242). Цензурным мытарствам Афанасьева посвящены две специальные статьи⁸. Недавние архивные изыска-

⁶ См. А. А. Формозов, Очерки по истории русской археологии, М., 1961, стр. 50, 118, 119.

⁷ А. М. Разгон, Этнографические музеи в России (1861—1917), «Очерки по истории музейного дела в России», вып. III, М., 1961, стр. 230—267.

⁸ А. О. Шлюбский, К истории русской этнографии. Цензурные мытарства А. Н. Афанасьева, «Сов. этнография», IV, 1940, стр. 128—141; В. И. Чернышев, Цензурные изъятия из «Народных русских сказок» А. Н. Афанасьева, «Советский фольклор», 1936, № 2—3, стр. 307—315.

ния Н. Я. Эйдельмана показали, что Афанасьев (как, кстати, и Е. И. Якушкин) постоянно посылал Герцену материалы для публикации в «Полярной звезде»⁹.

Наконец, можно упрекнуть С. А. Токарева в том, что в его книге не выдержан единый принцип в персоналии. Иногда указаны имя, отчество и годы жизни ученого, иногда — только инициалы. Полностью приводятся эти данные для Беллинского, Герцена, Некрасова, но было бы гораздо важнее сообщить имена и годы жизни ряда этнографов, сведений о которых нет ни в одной энциклопедии.

Сделанные замечания не умаляют ценности труда С. А. Токарева. Он проделал колоссальную работу, поднял и критически оценил огромную литературу, создал незаменимый справочник. Хотелось бы все же, чтобы во втором издании книги и в новых исследованиях по истории этнографии, помимо справочно-библиографического материала, большее место заняли бы разделы, содержащие анализ идей и методов русских этнографов. Эволюционизм, антропологическое направление, труды ряда выдающихся ученых (например, Л. Я. Штернберга по первобытной религии) заслуживают детального и глубокого анализа.

⁹ Н. Я. Эйдельман, Тайные корреспонденты «Полярной звезды», М., 1966.

А. Формозов

В. Ф. Горленко. *Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв'язків*. Київ, 1964, 248 стр.

В 1964 г. историография этнографии славянских народов СССР обогатилась двумя ценными трудами. Вслед за книгой В. К. Бондарчика по истории белорусской этнографии¹ появилась работа В. Ф. Горленко по истории этнографии украинского народа. По замыслу ее автора, новая работа должна была «заполнить по возможности пробелы в исследовании истории украинской этнографии, особенно касающейся русско-украинских этнографических взаимосвязей, пересмотреть вопрос о начале развития этнографии на Украине и наметить его главные этапы» (стр. 24). Следует сразу сказать, что со своей нелегкой задачей автор исследования справился довольно успешно.

Работа В. Ф. Горленко представляет собой сжатый, но насыщенный богатым фактическим материалом очерк истории украинской этнографии с начала ее зарождения до середины XIX в. Во введении автор дает критический обзор попыток построения истории украинской этнографии, предпринимавшихся ранее дворянскими и буржуазными учеными (А. Метлинским, В. П. Горленко, Н. Петровым, а затем А. Пыпиным, Н. Сумцовым, О. Огоновским и др.), показывает тот вклад, который внесли в разработку этой темы революционно-демократическая историография (труды И. Франко) и исследование советских ученых.

В работах советских исследователей была оценена деятельность и теоретическое наследие ряда выдающихся украинских этнографов и фольклористов, а также некоторых научных учреждений. Однако до сих пор мы не имели сводной работы, дающей последовательный и систематизированный обзор истории украинской этнографии. Капитальный труд А. Н. Пыпина по истории русской этнографии, третий том которого целиком посвящен «этнографии малорусской» (СПб., 1891), явно устарел и к тому же доведен лишь до 1890-х гг.

Исследование В. Ф. Горленко кладет начало систематизированному курсу истории украинской этнографии, построенному с принципиально новых, марксистских позиций.

Автор последовательно излагает историю накопления этнографических сведений на Украине, начиная с эпохи древней Руси. Он правильно отделяет период развития этнографических знаний от времени становления украинской этнографии как науки. Начало становления на Украине этнографии как особой науки В. Ф. Горленко относит к последней трети XVIII в. и ставит его в связь с общим процессом развития отечественной науки. Однако изучение развития украинской этнографии, как резонно подчеркивает автор монографии, следует начинать не с конца XVIII в., а гораздо раньше, с появления первых сведений об украинцах и других народах в украинских письменных памятниках и произведениях народного творчества. В то же время утверждение о том, что начало украинской этнографии находится «где-то в XV в.» (стр. 30), автором недостаточно обосновано и поэтому не кажется убедительным.

В книге не только широко раскрыто развитие этнографических знаний на Украине до и после восстановления Украины с Россией, но и тщательно и подробно проанали-

¹ В. К. Бондарчик, История белорусской этнографии, XIX ст., Минск, 1964.